

Алексей Михайлович Ремизов

Неуемный бубен



Алексей Ремизов

Неуемный бубен

1909

Ремизов А. М.

Неуемный бубен / А. М. Ремизов — 1909

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	8
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Алексей Михайлович Ремизов

НЕУЕМНЫЙ БУБЕН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Среди достопримечательностей нашего города после древнего Прокопьевского монастыря с чудотворною иконою Федора Стратилата, высоких древних заново перекрашенных стен другого, женского Зачатьевского монастыря и пыльного бульвара, затейливо освещаемого единственною керосиновою лампочкою, тоже не без затейливости повешенною на проволоке между рестораном и эстрадою для музыкантов, после трактира Бархатова, знаменитого огурцами укропистыми и мерными какого-то необыкновенного засола и ядренистою белою капустою – *зайчиком*, после дурочки *сестрицы* Матрены, на которую одни молились, другие потешались, третьи отругивались, наконец, после памятника показывали Ивана Семеновича Стратилатова.

И у всякого мало-мальски сведущего на этот счет было полное согласие и единодушие. Скорее о монастырях поспорят, древность которых уже самой местной ученой архивной комиссией доказана, скорее в бульваре усумнится какой-нибудь *глуздырь*¹ заволжский либо в том же прославленном памятнике, но в Стратилатове никто и никогда, это дело немыслимое.

Двадцати лет начал он свою судебскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов – все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.

Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! – председателя первого суда помнит.

Вон Адриан Николаевич, правда, волосу много, архиерейским гребнем не продерешь, а успел-таки ноги пропить, и сколько там ни мудрит секретарь Лыков, сажая безногого параличного писца для обуздания в архивный шкаф под замок, пропьет и последнюю свою голову. Нет, Стратилатов не чета Адриану Николаевичу, и столы-то их не рядом, а друг против друга, и недаром пишущую машину между ними поставили: водки Иван Семенович отродясь не знал, что это за водка, да и кандидатская пушка в тоненьком мундштуке никогда не соблазняла его, не курил.

– А зато жив и здоров, – пояснял Стратилатов, – прожил шестьдесят лет, проживу и сотню, проживу сотню, дотяну до другой: в первые времена по пять сот благочестивые люди жили и все такое.

По словам Лукьяна, сторожа, за все сорок лет с Стратилатовым ровно и перемены-то никакой не произошло, цел, как целыши ягоды либо яйца. Положим, это и не совсем так – Лукьян кривой, на левый не видит, – а все-таки Иван Семенович еще молодцом и крепок, как крепкий хрен, хоть куда. Само собою, курчавых черных волос, о которых не раз проговаривался Стратилатов, кудрей этих – девьей сухоты и в помине нет; чисто, гладко – плешь во всю голову, от бровей до затылка, вот какая; Но что за беда, с плешью даже удобнее: деревянного масла меньше расходуется да и муху на плечи легче убить, притом она ему и к лицу как-то. Это товарищ прокурора обязательно должен бобриком стричься да чтобы руки были большие белые, как белые перчатки, с рубинчиком на мизинце, а у Ивана Семеновича и руки-то самые обыкновенные, пальцы вроде лопаточек.

¹ *Глуздырь* (диалект.) – иронич.: умник.

– Плешь – украшение мужчины, – говорил сам Иван Семенович и не без гордости.

Другой сторож, Горбунов, которому Иван Семенович считает своим долгом всякую субботу всучить душеспасительную картинку, такой же, как Лукьян, ветхий, и хоть смотрит в оба, а тоже перемены никакой не видит и только на уши указывает, что как-то широки они очень у Ивана Семеновича да длинны ни на какую статью, и словно бы в те еще времена, как жива была покойница мать Стратилатова да первым охотником слыл Стратилатов по городу, словно бы тогда за черными кудрями они и не так торчали, не заострялись так кверху.

Что правда, то правда: уши большие – ушан, спору нет, но посмотрите, когда спит Иван Семенович, войдите незаметно в его спальню, когда после обеда, распластавшись на продавленном тюфяке и голову закинув на промасленную, как блин, подушку, лежит он на своей колченогой железной кровати, они и совсем ничего: разлопущатся листом по подушке, сразу и не заметишь. Вся причина, должно быть, в серой жокейской шапочке с пуговкою, которую носит Иван Семенович, это от нее.

Остаются очки – без них Стратилатов шагу не ступит, всегда на носу, – и не светлые, как у Адриана Николаевича, а дымчатые – консервы, а из-под очков чуть заметные, полузакрытые веками, мутные глазки и белки, такие желтоватые с красными жилками.

Так-то оно так, но сам-то Иван Семенович утверждает совсем другое: очки, все равно как и калоши, носит он больше для виду, а глаза у него голубые. Чем черт не шутит, может быть, они и вправду у него голубые и только из-под дымчатых очков такими кажутся мутными с желтоватыми белками, – обман зрения.

Шестьдесят лет стукнуло Стратилатову – седьмой десяток пошел, сорок лет как сидит он в суде да бумаги переписывает и за все сорок лет не пропустил ни одного дня и во все дни никогда не отлынивал от дела, а перемены, как видно – какая же перемена? – в бане под паром, подбери он только живот, и совсем за своего помощника Забалуева сойти может, а Забалуев писарь – *ёра-мальчишка*.

– Собачья старость! – ухмыляясь, говорил Адриан Николаевич, подмигивая из-под очков на своего сослуживца, и говорил так безногий, конечно, больше насмешки ради, чтобы поиздеваться или просто из зависти, ибо всегда был и останется, по меткому определению Ивана Семеновича, *обуян бесом*.

И в самом деле, какой иной смысл в этой *собачьей страсти*, чередующейся с *Гекубой*, *Голгофой*, *Аварией*, *Объектом*, *Сферой*, *Раутом* и тому подобными ни на что не похожими выражениями, по крайней мере, никакой видимой связи не имеющими с Стратилатовым: сидит вот так, сидит, бумаги переписывает, либо прошение сочиняет, либо всей пятерней разглаживает свою клочкастую рыжую бороду да с пьяных глаз и пустит через стол что-нибудь в таком роде, а все чиновники так смехом и заливаются, со смеха мрут. Ну, да верь всякому вздору, говорить с безногим – гороху наестся, и то мало, сказано: *обуян бесом*.

Другое дело всехсвятский дьякон Прокопий, в доме которого вгнездился Стратилатов. Прокопий, когда речь заходила о беспримерной крепости и не по летам цветущем виде неугомонного жилища, ссылался на *естество*.

– Естество, – говорил дьякон, потягивая свою рыжую редкую бородашку, – такое естество, его же уставы попать невозможно.

И, пожалуй, дьякон был прав.

Как яйцо круглый и полный, во всю щеку румянец, да такой румяный – малина, а губы – сирень-цвет, другого не подберешь, и над губою – пушок либо так углем по губе кто провел, с масленицы осталось, нос – его за три версты увидишь – длинный, и все такое сытое да наливное, сахарное.

– Когда буду старым, отпущу бороду, – не без удовольствия объявлял досиня выбритый и даже кое-где поцарапанный от тщательного бритья Иван Семенович и молодцевато вытягивался на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивала, стойкий, этак вставал

открыто плешью к солнцу, крепко и твердо упираясь на свои огромные тяжелые ступни: вот, мол, я – голова.

И все, как один, соглашались, что Стратилатов – голова, каких мало, но тот же Адриан Николаевич не пропускал и тут случая позубоскалить.

– У тебя не голова, – ухмылялся безногий, – у тебя так, брат, головка!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Всякий день поутру часов в семь, когда по домам еще бродит сон, последний, но зато самый сладкий и такой крепкий, что ни стуком дров, ни колокольным звоном – а звонят и в Прокопьевском и в Зачатьевском, и в приходских церквах – никакими силами, кажется, не одолеть и не выгнать его за дверь в сени, когда одни лишь торговки с молоком и корзинами идут на базар и кричат, как только умеют кричать одни лишь торговки, да бегут чиновники в казенную палату, в этот ранний заботливый час, проходя по Поперечно-Кошачьей, легко столкнуться лицом к лицу с Стратилатовым.

Зимою он в ватном пальто, на шею намотан красный гарусный шарф, летом в сером люстриновом пиджачке и в серой жокейской шапочке с пуговкою, из кармана непременно торчит пестрый платок, под мышкою синий мешочек с сахаром, и всегда калоши.

И если бы вдруг под каким-нибудь волшебным глазом так все изменилось: перескочили бы усики-пушок, долгий нос, малиновый румянец и сама гладкая, смазанная деревянным маслом стратилатовская плешь на другую и совсем непоказанную голову, на полицеймейстерскую – на самого Жигановского, а жигановские усы на председателя – старичка чахоточного, безвозвратно перетерявшего за упорными болезнями всю свою природную отклику, а сам Стратилатов превратился бы в какого-нибудь кита, свинью, мышь или белую лебедью поднялся бы со стаей лебедей над Волгою, все равно по одному синему мешочку и калошам ни с чем его не спутаешь.

Как в суде, так и в других казенных учреждениях чиновники обыкновенно пьют чай в складчину, сахар обходится в месяц семнадцать копеек на брата. По расчетам же Стратилатова выходило, что выгоднее носить свой сахар. Вот почему неразлучен с Иваном Семеновичем синий мешочек, и это всем известно. Что же касается калош, то по огромности своей стратилатовские не уступят даже и тем, что в витрине у Охлопкова для ротозеев выставлены, и из тысячи в какой угодно толпе выделяются, притом с первого же взгляда в глаза бросится, что и надеты-то они только для виду: сапоги у Стратилатова рантовые, солдатские, из толстой грубой кожи, которую ни дождь, ни мороз не берет, и одни сами по себе без всяких калош прекрасно скрадывают пространство.

Поднявшись в шесть под всехсвятский благовест и помолившись Богу, а Иван Семенович молится долго и усердно, выбрившись и поворчав на Агапевну, с незапамятных времен прислуживающую у Стратилатова, после утреннего чаю отправляется он по Поперечно-Кошачьей на толкучку, где с час и толчется около всякого старья и книжных ларей будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом, что ли, высматривая заброшенное добро, сваленное как попало, вперемежку с пустяками.

Толкучка для Стратилатова не праздное развлечение праздного человека, толкучка для него – существование, дело, как для врача эпидемия, для адвоката разбой, для газетчика несчастное происшествие; и не из тридцатирублевого чиновничьего жалованья, а через эту толкучку лежало у Стратилатова в государственном банке неприкосновенно целых десять тысяч.

– Умные люди всегда устроятся, дураки никогда не умеют! – так говорил Стратилатов.

Еще в свои молодые годы занялся Иван Семенович промыслом – продажей старинных вещей. Купить удавалось ему всегда задешево – без кошелька не выходил на толкучку и, пока другие зевали, брал без всяких проволочек облюбованную вещь, а затем сбывал ее за хорошую цену столичным скупщикам. Так, скупая и перепродавая, сколотил себе Стратилатов капитал.

Наш город стариною славится.

Но не одна выгода, также и страсть гнала Ивана Семеновича на толкучку, и не меньшая, чем у соседа его Тарактеева, мучного торговца, начетчика и нумизмата, и сам он не прочь был из-за какой-нибудь гравюры, качества весьма подозрительного и вовсе не принадлежащей

Рембрандту, которому любил приписывать все без исключения свои гравюры, так рассориться с приятелем, как недавно еще поссорились на всю жизнь городской врач Лихарев с архитектором Барановым из-за каких-то кресел, будто бы *петровских*, и не все продавал он из добытых драгоценностей, оставляя себе кое-что и действительно ценное. И вот почему среди судебных чиновников один Борис Сергеевич Зимарев – помощник секретаря и непосредственный начальник Стратилатова – за умение свое точно и верно определить древности снискал у него искреннее уважение и даже дружбу.

В нашем городке всякий во всем понимал толк, да как-то без толку.

К девяти Стратилатов в суде. Он приходит первый, раньше всех, и только за последнее время секретарь Лыков не отстает от него, а иногда и предупреждает, но Лыков – исключение и вообще на настоящих прежних секретарей ничуть не похож. Прокурора Лыков не боится, а прокурора все боятся, язык у Лыкова не лопотун, не жало, а попадешь ему на язык – в когтях у черта уютнее, просмеет, отбреет и все напрямик в глаза жарит без обиняков, без околичностей, без лжи и лести, а когда смеются – бровью не двинет, точно замком заперт, и так законы знает, будто сам сочинял их.

Стратилатов является в суд не с пустыми руками: кроме синего мешочка с сахаром, он приносит с толкучки какую-нибудь старую вещь – картину, икону, книгу либо так мелочь. И первым делом сложит покупку за свой стул к стеклянной горке, где хранятся бланки, бумага и другие канцелярские принадлежности, затем, высморкавшись так, что вся горка звякнет и ей отзовется другая с разбитым стеклом, от Адриана Николаевича, подложив под локти по листу чистой бумаги, чтобы рукавов не засалить, обсосет перо и примется за переписку.

До двенадцати лучше не беспокоить Стратилатова: в двенадцать секретарь потребует от него исполнений по предыдущему дню и, хочешь не хочешь, подавай бумаги, а не подашь, Лыков потачку давать не любит, такой столбняк нагонит, своих не узнаешь.

И не столько выговор, сколько само по себе слушание страшит Ивана Семеновича. Начальству он предан, страх перед ним знает, и чем выше начальство или, как говорится, иное какое усмотрительное лицо, тем страх сильнее: поджилки дрожат, ноги подкашиваются, ножки тараканьи вырастают и до слез обуяет трепет, до потери всякого соображения, до полного забвения нужнейших житейских обстоятельств, как-то: имени, отчества и фамилии, возраста, пола и положения, когда, например, случается столкнуться ему в прихожей с председателем, с которым ни разу во всю свою жизнь не сказал он ни одного слова. Нет, лучше не беспокоить Ивана Семеновича.

Но лишь только секретарь уедет с докладом и останется вместо него всего-навсего один его стол, заваленный делами, тут-то и наступает самое подходящее время побеседовать с Стратилатовым. Он становится неистощим и разговорчив: от одного к другому собирает он всех чиновников и, пришепывая от удовольствия, пускается во все тяжкие – всякие истории, всякие приключения, всякие похождения исторические, современные и даже апокрифические, из отреченных книг заимствованные, вроде «Повести о Ноевом ковчеге»², и все, как на подбор, содержания весьма тонкого, жарит он на память, как по-писаному, пересыпая анекдотами, шуточкой и так, попутными замечаниями, тоже по смыслу своему исключительной легкости, затем переходит к стихам, известным больше в рукописном виде, нежели из печатных книг, вроде знаменитой «Первой ночи», и декламирует поэмы нараспев, с замиранием – по-театральному.

² «Повесть о Ноевом ковчеге» – травестийное переложение библейского сюжета. Содержание этого сочинения излагается самим Ремизовым в его повести «Пятая язва»: «Есть такое сказание о Ное, как праведный Ной, впустив в ковчег зверей, чистых по семи пар, а нечистых по две пары, задумал, обуздывая ради и удобства общего, лишить их, временно, вещей существеннейших. И, отъяв у каждого благая вся, сложил с великим бережением в храмину – место скрытое. И сорок дней и сорок ночей, во все время потопа сидели звери по своим клеткам смирно. Когда же потоп кончился и храмина была отверста, звери бросились за притяжением своим, и всяк разобрал свое. И лишь со слоном вышла великая путаница, слону в огорчение, ослу на радование и похвалу» (Ремизов А. М. Повести и рассказы. М., 1990. С. 413).

Что за смех подымается! Вот лопнешь, вот со смеху надсадишь бока, нет ему тына, ни помехи – три кандидата за столом Стратилатова да три за противоположным у Адриана Николаевича, помощник Стратилатова писарь Забалуев да Адриан Николаевич безногий с своим помощником писарем Корявкой – кто хохочет, кто сопит, кто взвизгивает, кто просто подпрыгивает, а сам Иван Семенович так ржет, пыль подымается, пылинки летят, точно перетряхивают сданные в архив пропыленные дела.

Другому бы и невмочь, другой угорит, но как раз именно этот-то воздух и действует на Стратилатова благоприятно: хлебом не корми, дай подышать.

Разгорячается воображение, вылетают слова все игривее и забористее, да такое загнет, небу жарко. И уж не пришепечивает, а словно в бубен бьет, молодежато вытягивается на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивает, стойкий, этак встает открыто плешью к солнцу, и она, гладкая, смазанная маслом, маслянистая, румянится, как обе щеки, малиновым румянцем.

– Неуемный бубен! – зывал, трясясь от хохота, безногий Адриан Николаевич.

Когда в прокурорский надзор стали поступать для уничтожения конфискованные книги по статье, как говорилось в протоколе, соблазнительного их характера, Стратилатов, имея ходы, получал такие неудобные книги, внимательно строчка за строчкою прочитывал их и, выудив места наиболее интересные и занимательные, преподносил чиновникам к всеобщему удовольствию и развлечению всей канцелярии и так же ржал, как при какой-нибудь «Азбуке» или при «Воспоминаниях вдового священника» – чтения довольно излюбленного и ходового, и так же подымалась вокруг пыль, летели пылинки, точно перетряхивали сданные в архив пропыленные дела.

– Грязный человек! – так отзывался, не иначе секретарь о Стратилатове, имея в виду эту самую падкость Стратилатова на предмет исключительный.

Как огня, боялся Иван Семенович Лыкова, но это мнение о себе пропускал он мимо ушей, не трогало оно его и не могло уколоть. Слава Богу, за сорок-то лет беспорочной службы нос его кое-что чуял, и пускай Лыков – законник, пускай аккуратен, как немец, и всех в страхе держит, а все-таки – тут Иван Семенович отдал бы руку на отсечение – Лыков революционер. Революционеров же Стратилатов за людей не признавал, а так за шушера, выделяя лишь одних декабристов.

– Только благородные и могут бунтовать, а это все шушера! – вот подлинные слова Стратилатова.

Молодежь – чиновники, не относясь к Стратилатову так безразлично и строго по-лыковски, насмехались над ним и изводили его, когда ему совсем было не до смеха, и чаще при спешных делах до чаю, за развлечения же и за то, что давал взаймы, пожалуй, даже любили.

Стратилатовское правило всем хорошо известно: попроси – не откажет, и расписки не надо, и только для порядку, когда уж возвратишь долг, попросит расписаться, вытащит из кармана сложенный в восьмушку лист с записями и укажет твою фамилию:

– Отметьте, что получено.

Мудрое правило, всеми оцененное по достоинству.

И вот почему в три часа, когда из суда вываливалась компания молодых чиновников и притом далеко не чинно, а шумно и безалаберно, это значило, что выходит Стратилатов.

По дороге домой обыкновенно он оканчивал спутникам начатый еще в суде рассказ, по тонкости своей, как всегда, требующий большой выразительности, прерывая свою кудрявую речь, и совсем не в ущерб ей, лишь у церквей, так как считал своим долгом, поравнявшись с церковью, обязательно помолиться, а молился Иван Семенович долго и усердно.

Так мирно в веселой компании да в приятных разговорах после дневных трудов добирался Стратилатов до Всехсвятской церкви. Миновав всехсвятский алтарь, окруженный могильными крестами, приходящимися как раз против окон его гостиной, завертывал он на

свой двор и шел по дорожке важно, степенно и благопристойно, как подобает чиновнику, заглядывая через свои темные очки в окна смежной квартиры полицейского надзирателя и предвкушая обед, щи какие-нибудь горячие, которые изждались его, упрывая в печке за розовою занавескою, как изждалась старуха Агапевна, принимавшаяся уже несколько раз раздувать рыжим стратилатовским сапогом непослушный пузатый никелированный самовар – *вазой*, и, дойдя до амбара, где хранилась старинная мебель, сундуки и всякие мешки, опять заворачивал, ускоряя шаг при виде узенького крыльца и покосившейся, обитой войлоком и клеенкой, захватанной драной двери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Откуда и как пошел Стратилатов, в точности не выяснено. Отец его из крепостных – управляющий в имении одного из крупных, впоследствии разорившихся помещиков нашей губернии, некоего Обернибесова, мать обернибесовская крепостная. А между тем сам Иван Семенович не без таинственности заявлял, что мужицкого в нем ни вот эстолько! – и что он – дитя дворянское и, как на некоторое будто бы неопровержимое доказательство, тоже не без таинственности и с видимым удовольствием, указывал на *это место*, как сам любил выражаться, – на свой длинный нос, который за три версты увидишь.

Опровергать не опровергали, никто этим не занимался, и сам вольнодумствующий Адриан Николаевич как будто тоже ничего не имел против, даже наоборот, был как-то особенно заинтересован и при случае считал своим долгом высказать собственные догадки о таинственном зачатии Стратилатова.

Адриан Николаевич утверждал, что *это место* – нос стратилатовский – ровно ничего не доказывает, а если и доказывает, то как раз противное: ведь и последнему дураку ясно наизаконнейшее его происхождение от законного родителя – наследство простого человека, другое дело, будь на нем родинка или еще какое украшение, а что вот другое место и не менее выдающееся – стратилатовские лопухатые уши, заостренные кверху, подлинно самое настоящее высшей породы – обернибесово, и если уж ссылаться, так именно на уши и отнюдь не на нос.

Ошибался ли Иван Семенович, а Адриан Николаевич был прав, или, наоборот, Иван Семенович был прав, а Адриан Николаевич ошибался, разобраться в таком мудреном деле сверх силы человеческой, и лучше всего, да так и наитие подсказывало, положиться на обоих, веруя тому и другому – и в нос и в уши.

Детство Стратилатов провел в обернибесовской старинной усадьбе и воспитание получил, как кажется, под стать таинственному своему зачатию. Смутно и путано вспоминал Иван Семенович свои ранние годы, течение которых будто бы складывалось возвышенно и необыкновенно.

Уж само крещение было необыкновенно. Крестили его не в купели, а *через шапку*. И произошло все это при самых исключительных обстоятельствах. Было в тот год на селе беспоповье – умер священник, а родился Иван Семенович зимою слабенький – везти такого за сорок верст в ближайший приход было невозможно. Послали Егора, столяра обернибесовского, в то село к священнику. А священник ехать не может – храмовой праздник. Что делать? Да вот что делать: окрестил батюшка шапку и дал ее Егору, чтобы тот, как приедет, надел бы ее на младенца, и уж никакого крещения больше не надо. Спрятал Егор шапку, поехал, верст двадцать отъехал, вывалился на ухабе, – имя-то и забыл. Повернул назад и прямо к священнику, а по имени не хочет говорить: «Дай, говорит, двугривенный, скажу». Егор ему полтину – деньги-то управляющего! – да на радостях в трактир, выпил, обогрелся, шапку-то и потерял. Шапчонка старенькая, грош ей цена, да с пустыми руками тоже вернуться неловко. Едва отыскал какую-то, да скорее домой. Надели ее на младенца, так через шапку и окрестили. Вот такая история!

Рос онмышленным, рано выучился грамоте, – скоро она ему в ум далась, и умел из ружья стрелять, рано пристрастился к чтению, перечитал много и разного, но больше божественного, пробовал и сам сочинять, писал стихи. Семнадцати лет по смерти отца своего переселился с матерью в город, в дом всехвятского дьякона Прокопия. Из деревни вывезено было много всякого добра, и, может быть, оно-то и легло в основание тем собраниям редкостей, какими славится Иван Семенович, и положило начало его промыслу.

О законном отце своем Стратилатов сам никогда не вспоминал, а на расспросы отвечал неохотно и говорил не иначе, как с какою-то горькою обидою и даже с презрением, и единственно за то, что отец – простой мужик. Мать же свою обожал, ухаживал за нею, холил, жалел

и берег пуще себя, чуть не молился на нее – примернее и почтительнее не найдешь сына, а после смерти ее сохранил самые трогательные воспоминания, и кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, на которой спала она, стояла под чехлом в сарае неприкосновенно.

– Мне ничего для мамаша не жалко, – рассказывал, бывало, Иван Семенович, – я наверное знал, что она помрет, но все-таки шесть рублей восемьдесят семь копеек истратил на лекарство. Так мне скучно было, места не нахожу, некому чаю налить.

Год спустя после смерти матери, справив поминки, Стратилатов женился.

Рассказывали, что в день свадьбы после венца, когда разошлись гости, провел он ночь один, затворившись в гостиной, и, стоя на молитве, боролся с собою.

– Иван, опомнись! Иван, побори! – так будто бы укорял Иван Семенович и обуздывал себя до самого утра, и взошло солнце, и все-таки не поборол, зато уж на следующий день в радости песни пел.

Жену он взял себе молодую, красивую. Глафира Никаноровна тихая, кроткая, редко слово услышишь, и одна забота, что о своем Ванечке, да такая усердная и желанная, любо-дорого посмотреть, и по-старинному: руки с подносом, ноги с подходом, голова с поклоном, язык с приговором, – чего еще, живи, как Адам в раю, – а между тем на другой уж год Стратилатов снова остался в одиночестве.

Надо сказать, что об эту пору назначили в наш суд нового следователя – молодой человек, весельчак, большой шалопут и, хоть ни в каком родстве не состоял с Стратилатовым, фамилия одна и та же – Стратилатов.

Бывают же такие досадные совпадения: живет человек тихо, и никого не трогает, все тебя знают и ничего за тобою не числится, и хвать, в один прекрасный день появляется некто с твоей фамилией и все перевертывается – ты уж тот да не тот или не совсем тот, потому что есть еще и другой, дели с ним свое имя, дели и всякую пакость. И появляется тебе этот самый с твоей фамилией не в каком-нибудь головоломном фантастическом смысле – не от расстройства и дурного воображения, а самым живым и осязаемым образом, с метрикою и даже с положением, и тут-то подымается проклятая мысль: а что если этот новоявленный – настоящий, а ты – подделка?

Задумался Иван Семенович и стал все думать и всякие строить предположения: что все это значило, и к чему бы это такое было, и нет ли тут какого знамения, и кто настоящий, он или Стратилатов или тот, следователь Стратилатов? И, ничего определенного не решив, насторожился.

Все шло по-хорошему, не случилось никакого недоразумения, не было путаницы и подмены, и уж собирался было Иван Семенович к новому году выкинуть из головы все свои опасения и окончательно утвердиться, что он и есть самый настоящий Стратилатов, а следователь – подделка. И вот, словно бы нечистое что, потянуло его на именины к Артемию, старому покровскому дьякону.

Как всегда, именины Артемия справлялись хмельно и весело. Навалило гостей, хозяина с ног сбили. Много было барышень и много подавалось угощения. Стратилатов был в самом хорошем расположении духа, набил полные карманы лакомствами для своей Глафиры Никаноровны, философствовал с Зачатьевским *Ахитофелом* – протопопом отцом Пахомом, щеголяя своею ученостью и в оборотах речи употребляя отборные слова, вроде какого-нибудь *паки-течения*, *он-сицы*, *непицевания*, *гобзования* и тому подобных замысловатостей³, влопад и невлопад, а когда стали в фанты играть, засыпал остротами, а за верблужьим скаканьем, как выражался Артемий, – за танцами, смешил анекдотами, рассказами о Карапете Карапетовиче и его

³ *Паки-течение* (церковнослав.) – напротив, наоборот. *Он-сица* (церковнослав.) – он самый, тот же. *Непицевание* (церковнослав.) – думы, помыслы. *Гобзование* (церковнослав.) – изобилие.

приятеле, о преимуществе новых языков перед древними, про смекалку, *жую ремешки* и про другие не менее забавные случаи, да так и не заметил, как ужинать подали. И вот за ужином среди всяких шуток, когда гости стали похвастаться друг перед другом, расхвастались, послышалось ему, что в пьяном углу заговорили о Глафире Никаноровне, стал прислушиваться – так и есть, о ней, и все в выражениях самых иносказательных и равнодушных, затем кто-то сказал:

– Эх ты, слепая курица, чего говоришь зря, по уши врезалась она в Стратилатова, их и водою не разольешь.

Выронил Иван Семенович вилку, как обухом ударило его по лысине: представился ему вертлявый следователь Стратилатов, вспомнились ему все предчувствия, вся тревога, и так зарябило в глазах, такое сердце взяло, что сам бы себе язык перекусил. Под предлогом внезапного внутреннего расстройства Иван Семенович вылез из-за стола вон и, сломя голову, без шапки, бросился домой. Как добежал, не помнит, бешеный ворвался в дом и прямо с кулаками на Глафиру Никаноровну.

– Вон, вон из моего дому!

Та со сна ничего не понимает.

– Куда, – говорит, – мне деваться?

А он ее за косы, да так, что косы остались в его руке, пихнул к дверям, да за дверь, да как саданет коленкою с крыльца:

– К Стратилатову, вот куда, к паршивцу своему Стратилатову, чтобы и духу твоего не пахло.

Так и выгнал ни за что ни про что и бескою.

Глафира Никаноровна сама после всю эту историю всем рассказывала и со всеми подробностями, жалуясь на свою горькую, сиротскую долю. Иван Семенович молчал, и не поминай ему – уши затыкал, когда говорили о жене его, имени ее не хотел слышать. А когда, и это еще совсем недавно, помощник Адриана Николаевича, писарь Корявка прошелся спьяну насчет неудавшихся браков вообще, и хоть имена умолчал, но очень уж прозрачно, Иван Семенович схватил чернильницу и пустил ее в Корявку, – в Корявку не попал, промахнулся: у секретарского стола грохнулась чернильница и осталось до сих пор черное пятно. Значит, и через тридцать лет все еще кипело и мучило, – вот какие бывают искушения!

Следователя Стратилатова в тот же год перевели от нас, Глафира Никаноровна доживала век у своей матери, тихая и кроткая.

Одному оставаться в доме невозможно: и скучно, и неудобно, да и за домом надо чтобы присмотр был. Не устроил Стратилатов себе тихого семейного очага, не удалась ему семейная жизнь, ну да хоть как-нибудь, а надо наладить жизнь. Тут-то и определилась к нему Агапевна, и за старостью лет, никуда не годная, нанялась очень сходно – не за жалованье, а всего за один хлеб, и с тех пор служит ему безответно и безропотно, верою и правдою.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.